После измены
ЗДРАВСТВУЙ, ЧУЖАЯ МИЛАЯ

Инна Вронская

После Измены. Здравствуй, Чужая милая

https://litres.ru/74691054
SelfPub; 2026

Аннотация

Я иду в подсобку за бинтами, толкаю дверь плечом — руки заняты.

И мир проваливается под ногами.

Он там. Мой Ветер. Прижал к стеллажу Люську, ту, что бельё возит. Рука у неё под кофтой, губы — на её шее.

Бинты падают у меня из рук.

Он оборачивается.

И вот это — страшнее всего. Он не пугается. Не отшатывается. Не бледнеет. Даже руку из-под её кофты не спешит вынимать.

— Да не бери в голову, Вер. Это так, несерьезно, сестричка-медсестричка. Мы славно провели время. Я не жалею ни об одном дне!

Всё, во что я верила, — спектакль. А я — единственная в зале дура, что хлопала и плакала от счастья. Что отдала ему самое ценное

— Не превращай это в трагедию, тебе не идёт. Спасибо за доставленное удовольствие. Было очень трогательно. – говорит Ветер и застегивает рубашку.

А спустя пять лет, я вижу его за семейным ужином.

Ветер.

Стал старше, сильнее, черствый как кремень.

Я отдала тебе самое важное: свое сердце.

Но самый главный свой секрет, я теперь ему не отдам.

Никогда

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 10
Глава 3 14
Глава 4 21
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Инна Вронская
После Измены.
Здравствуй, Чужая милая

Глава 1

— Всем на уколы! Портки вниз и в очередь!

Ольга Викторовна вплывает в палату так, что койки, кажется, сами отодвигаются. Пышная, грудастая, голос — иерихонская труба. Солдатики зовут её Бронепоезд, и не в обиду, а с любовью, потому что за этой пудовой грудью прячется сердце размером с то же самое орудие. Она встаёт посреди палаты, руки в боки, и обводит раненых взглядом, от которого стихает даже радио.

— Кому жизнь дорога — тот сам штаны спускает. Кого догонять придётся — тому вколю дважды. За себя и за того парня.

Палата стонет в голос. Кто-то накрывается одеялом с головой, кто-то жалобно тянет с угла:

— Ольга Викторовна, я ж на поправку иду!

— Идёт он. Лёжа-то ловко идётся.

А я стою у неё за спиной с лотком и молчу. В этом весь наш фокус. Пока они дрожат перед Бронепоездом, коротень-

кое дело сделаю я — тихо, быстро, они и ойкнуть не успеют. Я — Вера. Медсестра. Двадцать лет, третий месяц войны, и руки, которые уже не помнят, что такое дрожать.

Голос у меня ровный. Всегда ровный. Даже когда внутри всё ходит ходуном. Так меня научила эта самая Ольга Викторовна в первый же день: «Реви в подушку, Веруня, а перед ними — кремень». Вот я и кремень.

— Первый, — говорю я и иду вдоль коек.

Колю одного, второго, третьего. Мужики жмурятся, а как поймут, что уже всё, — выдыхают и провожают меня взглядом благодарным, как собаки. Я привыкла. Мне их жалко всех, каждого, до кома в горле. Но жалость я прячу, как патроны, — глубоко, чтоб под рукой, но чтоб не видели.

— А это что за прелесть у нас тут разгуливает?

Голос новый. Я поднимаю глаза.

Койка у окна. Плечо перебинтовано, рука на косынке, а сам лежит вольготно, нога на ногу, и смотрит на меня так, будто я не с уколом пришла, а к нему свататься. Молодой. Наглый. И глаза — светлые, смешливые, с чертенятами.

— Руку, — говорю я. — Плечо колю. Здоровое.

— Э, нет, сестрёнка. Ты сначала представься. Я культурный. Меня Ветров зовут, Олег. Позывной — Ветер. А тебя?

— Никак. Руку, солдат!

— Никак — красивое имя. Редкое. — Он ухмыляется. — А чего такая суровая? Война войной, а сестричка должна улыбаться. Раненому улыбка — половина лекарства.

— Вторая половина — молчать и не дёргаться. Давайте руку.

Ставлю укол. Он даже бровью не ведёт — только смотрит, не отрываясь, и от этого взгляда мне вдруг делается жарко, будто печку рядом растопили. Отхожу быстро. Слишком быстро.

— Слышь, а правда никак? — летит вслед. — Не поверю. Вон у тебя на халате написано — В. Точка. Вера, что ли? Вера. Ну точно Вера. Веришь во что-нибудь, Вера?

— В инструкцию, — бросаю через плечо.

Палата грохочет хохотом. А Ветров хлопает себя здоровой рукой по колену:

— Убила! Наповал! Ольга Викторовна, я, кажется, влюбился. Спишите меня по любви.

— Я те щас спишу, — гудит от двери Бронепоезд. — По самое не балуй. Веруня приличная девка, а ты трепло контуженное. Не про твою честь.

— Так я исправлюсь! Женюсь!

— На тебе женишься, жди. Ты ж ветер. Подул — и нету.

Я домываю палату, меняю повязки, разношу термометры. И всё это время — спиной, затылком, кожей — чувствую его взгляд. Куда ни повернусь, он смотрит. Не пялится похабно, как некоторые, а вот именно смотрит — с любопытством, будто я загадка какая, будто во мне что-то есть, чего он раньше не видел.

Не смей, Вера. — говорю я себе. — *Не смей даже думать*

в эту сторону.

Потому что я таких знаю. Не его — таких. Лёгких, красивых, языкастых. У которых слово ничего не весит, а обещание тает быстрее снега на ладони. Прилетит, покружит голову, наобещает с три короба — и дальше полетел, а ты стой да утирайся.

У меня-то и жизни толком не было, чтоб таких набраться. Детдом, училище, война. Ни мамкиных советов, ни подружкиных слёз над чужой изменой. Но я их чую нутром, этих ветров. Бабьим чутьём, которое, видно, старше меня самой.

Ночью сижу в сестринской, грею руки о кружку с остывшим чаем. Ольга Викторовна напротив штопает казённую наволочку, очки на самом кончике носа.

— Веруня, — говорит, не поднимая головы. — А ты на этого, на Ветра, не заглядывайся.

— Да я и не... — начинаю, а она перебивает:

— Заглядываешься. Я, милая, тридцать годов в госпиталях. Я эту масть насквозь читаю. — Она перекусывает нитку зубами, смотрит на меня поверх очков. — Он ведь не злой, вот в чём беда. Был бы злой — я б тебе так не говорила. Он лёгкий. А лёгкие — они страшнее злых. Злой хоть понимает, что делает. А этот сломает и не заметит. Ему всё игра — что война, что баба. Азарт один в голове да ветер.

— Ольга Викторовна, — смеюсь я, а внутри отчего-то холодок. — Мне не до женихов. Мне бы смену достоять.

— Ну-ну. — Она вздыхает, откладывает наволочку. — Ты

вот что запомни, Веруня. Мы им тут раны штопаем. Дырки затыкаем, кровь останавливаем. А сердце своё — сами беречь должны. Сердце нам никто не заштопает. Оторвётся — и всё, вразнос.

Я киваю. Обещаю. И правда ведь не собираюсь — ни влюбляться, ни заглядываться, ни думать.

Но перед сном, уже в своей каморке, на узкой скрипучей койке, ловлю себя на том, что улыбаюсь в темноту. Дура дурой, а улыбаюсь. Вспоминаю его чертенят в глазах, дурацкое «спишите меня по любви», и то, как он смотрел — будто я не серая тень в застиранном халате, а живая, настоящая, единственная.

Меня так никто и никогда не смотрел.

— Дура ты, Верка, — шепчу я в подушку. — Ой, дура набитая.

За окном воет ветер, метёт позёмку, бьётся в раму. И вой этот — точь-в-точь его фамилия. Ветер. Ветров.

Глава 2

От Ветрова

Скука в палате — хуже осколка. От осколка хоть адреналин, а тут лежишь пятый день, пялишься в потолок, считаешь трещины. Три штуки от угла, потом развилка, потом та, что на паука похожа. Я их уже наизусть знаю, эти трещины. Плечо ноет, ходить толком нельзя, а самое паршивое — тишина. На передовой я хоть кем-то был. А тут — тело на койке номер шесть.

— Ветер, ходи, не спи! — Пашка Дрозд тасует карты обрубком колоды. — Твой заход.

Кидаю шестёрку. Мысли не про карты. Мысли, если честно, про одно. Точнее, про одну.

— Слышь, мужики, — тянет с угла Серёга-пулемётчик, здоровый, как шкаф, а голос тонкий. — А сестричка-то новая ничего. Верка. Только строгая — жуть. Я ей улыбнулся, а она мне градусник как штык вручила. Молча.

— Кремень-девка, — кивает Пашка. — Не про нашу честь. На такую и не подъедешь. Каменная.

И вот тут во мне что-то щёлкает. Знакомо так щёлкает. «Не подъедешь». «Не по зубам». Мужики, вы бы ещё красную тряпку быку под нос сунули. Я этих слов с детства не переношу. Скажи мне «не сможешь» — и я сдохну, но сделаю.

— Это кто не подъедет? — говорю и откладываю карты.

— Я не подъеду?

Палата оживает. Головы поворачиваются. Хоть какое развлечение.

— Ты? — Серёга ржёт. — Ветер, она ж тебя одним взглядом заморозит. Ты для неё — шпана контуженная.

— Спорим?

Сказал — и сам не понял, как вылетело. Само. Языком быстрее головы, вечная моя беда.

— На что спорим-то? — Пашка уже щурится, азартный чёрт.

— На ящик. Коньяка. Что эта ваша ледышка через недельку сама мне на шею кинется.

Тишина. Потом гогот такой, что дневальный из коридора заглядывает — не помер ли кто со смеху.

— Ветер, ты сдурел, — крутит головой Серёга. — Ящик! Да ты его на что брать будешь, героя кусок?

— Найду. Ты за неё переживай, не за коньяк.

— Идёт! — Пашка бьёт здоровой ладонью по одеялу. — Ставлю ящик, что обломаешься. Мужики, все свидетели!

— Свидетели, свидетели, — гудит палата.

И только с дальней койки — тихо, с досадой:

— Дурак ты, Ветер.

Это Михалыч. Старый, под пятьдесят, сапёр. Лежит, отвернувшись к стене, даже головы не поворачивает.

— Чего дурак-то? — Мне весело. Мне азарт в кровь ударил, лучше всякого промедола. — Спор как спор.

— Оставь девчонку. Она честная. По глазам видать — из тех, кто раз полюбит и насмерть. Не для твоих игрушек.

— Да я ж любя, Михалыч! — смеюсь. — Ей же радость. Пять минут внимания красавца-героя. Потом внукам рассказывать будет.

— Тьфу на тебя.

Он так и не оборачивается. А я уже завёлся. Всё, назад дороги нет. Ветер сказал — Ветер сделал. Дело чести теперь.

Я лежу, смотрю в свои трещины и уже прикидываю. Строгая? Это ничего. Строгие — они самые интересные. Строгость — это ж броня. А под бронёй у таких обычно знаешь что? Девчонка, которую никто по-человечески не приголубил. Улыбнись такой правильно, слово нужное скажи, глянь так, будто она одна на всём белом свете, — и броня трещит. Проверено.

Я ж не со зла. Вот честно, не со зла. Мне через недели две обратно, туда, где земля дымом и где я, может, и не вернусь вовсе. А тут — глаза красивые, серые, и голос ровный, и руки быстрые. Хочется, чтоб эти глаза на меня посмотрели по-другому. Не как на койку номер шесть. Как на человека.

Азарт это или что — сам не разберу. Мне и в голову не приходит, что за мой форс кто-то заплатит. По-настоящему заплатит.

— Ветер, — толкает меня Пашка. — Условие какое? Как докажешь-то?

— А сама скажет, — ухмыляюсь. — При вас. Что влюби-

лась. Идёт?

— Идёт!

Дверь скрипит. Входит она. С лотком, строгая, брови сдвинуты. Обводит палату взглядом — чего, мол, ржёте, полуночники. Мужики разом затихают, отводят глаза, кто-то в карты уткнулся. Только я смотрю. Прямо, открыто, с улыбкой.

— Отбой был десять минут назад, — говорит она ровно. — Свет гасим.

— Вера Николаевна, — тяну я самым медовым голосом, на какой способен. — А можно мне ещё капельку света? Я в темноте вас не вижу, а без вас мне и жизнь не мила.

Мужики прыскают в подушки. Она смотрит на меня — устало, без улыбки, будто на пацана, который в сотый раз одну и ту же глупость сказал.

— Спите, Ветров. Вам выздоравливать надо.

Гасит свет. Уходит. Дверь закрывается.

А я лежу в темноте и улыбаюсь. Вот эта её усталость, это «спите, Ветров» — меня только раззадоривает. Ничего, сестрёнка. Оттаешь. Я умею.

Неделя, — думаю. — Дам себе неделю.

И засыпаю довольный, как кот. Не зная ещё ни черта. Ни про то, что эти серые глаза мне потом сниться будут годами. Ни про то, что ящик этот выйдет мне такой ценой, что я всю жизнь расплачиваться буду и не расплачусь.

Глава 3

Месяц Ветров в госпитале. Плечо давно зажило — давно бы выписали, — а он всё цепляется за причины: то голова кружится, то шов тянет. И весь этот месяц ходит вокруг меня, как сапёр по минному полю. Осторожно. Терпеливо. Ни одного резкого движения, чтобы не спугнуть.

Сначала — смех. Он говорит такое, что я, каменная кремень-Вера, вдруг фыркаю прямо со шприцем в руке.

— Вера Николаевна, а улыбка вам идёт куда больше, чем этот халат цвета «всё пропало».

— Ветров, помолчите.

— Молчу-молчу. Но улыбка была. Я свидетель. И Пашка свидетель, он под присягой подтвердит.

И я смеюсь. Впервые за долгие месяцы — по-настоящему, до слёз в уголках глаз, до тепла в груди. И пугаюсь этого смеха: будто разучилась быть живой, а он взял и напомнил.

А потом наступают ночи.

Он не спит. И я на дежурстве не сплю. В отделении тихо, только чужое дыхание, храп с дальних коек да лампа гудит над столом. Он подзывает шёпотом:

— Вер. Посиди со мной. Не спится. Война снится, а признаться стыдно.

И я сажусь. На минутку. А минутка растягивается в час, в два, в целую ночь.

Он рассказывает про дом. Про мать, что печёт пироги с капустой и в каждом письме молит беречься. Про речку за огородами. Про то, как мальчишкой сигал с моста и ничего на свете не боялся. И голос у него в темноте совсем другой — не наглый, не лихой, а тихий, надтреснутый, будто он его достаёт из-за пазухи только для меня одной.

— Знаешь, Вер, — говорит он однажды совсем неслышно, и рука его в темноте находит мою. — Я ведь только с тобой такой. С мужиками я Ветер, гоготун бесшабашный. А тут сижу — и мечтаю, как пацан. Вот кончится война... И чтоб дом. И окошко. И ты у окошка меня ждёшь. Веришь мне, Вер?

Не верь, — стонет кто-то во мне. — Вспомни Ольгу Викторовну. Не верь ни единому слову.

А я верю. Вся, до самого донышка, до последней жилочки — верю. Потому что меня, детдомовскую, ничью, серую как этот халат, никто и никогда так не держал за руку в темноте. Никто не говорил «ты у окошка». Он смотрит на меня так, будто я не пустое место при лазарете, а единственная живая душа на всей земле. И перед этим взглядом рушится вся моя броня, вся моя строгость, весь мой холод.

Близость случилась сама. Моя первая. Долгожданная. Как ураган, но в то же врем тихо, жарко, отчаянно — как всё на войне, где завтра может не настать. В пустой палате, где пахнет хлоркой и крахмалом, где на нас смотрят только сложенные стопками простыни. Он целует меня так, будто пьёт,

будто изголодался, будто я — последняя вода на всём белом свете. И шепчет в самые губы:

— Верочка... хорошая моя... единственная...

И я вся раскрываюсь ему навстречу, как земля дождю после засухи. Отдаю всё, что есть, без остатка, без оглядки. Всю душу выворачиваю и кладу ему в ладони — на, бери, только не отпускай.

Потом я плачу. Сама не знаю отчего — от счастья, наверное. А он губами собирает мои слёзы и шепчет:

— Ну что ты, глупенькая. Что ты. Всё теперь хорошо. Я с тобой. Слышишь? Я никуда от тебя.

И я такая счастливая, что мне делается страшно. Так не бывает, думаю. Только не у таких, как я. Значит, вот она — награда. За сиротство, за холод, за все слёзы в подушку. Вот моё, наконец-то моё, кровное, выстраданное счастье.

Дура.

Ой, какая же я дура.

Проходит несколько дней. Я иду в подсобку за бинтами, толкаю дверь плечом — руки заняты.

И мир проваливается под ногами.

Он там. Мой Ветер. Прижал к стеллажу Люську, вольнонаёмную, ту, что бельё возит. Рука у неё под кофтой, губы — на её шее. А она запрокинула голову и хихикает — тихо, сыто, довольно.

Бинты падают у меня из рук. Разматываются по грязному полу белыми лентами, как с покойника.

Он оборачивается.

И вот это — страшнее всего. Он не пугается. Не отшатывается. Не бледнеет. Даже руку из-под её кофты не спешит вынимать. Смотрит на меня лениво, снисходительно, как на дитё, что не вовремя вошло, — и пожимает плечом:

— Да не бери в голову, Вер. Это так, несерьезно, сестренка. Мы славно провели время. Я не жалею ни об одном дне

Люська отпрыгивает от него как от огня, тяжелая рука приземляется на его щеку.

«Ай» - шипит ветер и улыбается. Не в первой…

Всё, во что я верила, — спектакль. А я — единственная в зале дура, что хлопала и плакала от счастья.

— Не превращай это в трагедию, тебе не идёт. – говорит Ветер и застегивает рубашку.

Я не помню, как выхожу. Как поднимаю бинты. Как дохаживаю смену. Кремень-Вера, ровный голос, быстрые руки — всё работает. Только внутри — выжженное поле. Пусто и гулко, как в стреляной гильзе.

Наутро его выписывают.

Я стою в конце коридора, за колонной, чтоб не видел, — а сама всё равно смотрю. Жадно, до рези в глазах. Он идёт к выходу — здоровый, лёгкий, вещмешок за плечом. И насвистывает.

Насвистывает. В руках целая коробка коньяка…

Обернись, — молю я беззвучно, вцепившись в холодную ко-

лонну. — Ну обернись. Один раз. Скажи, что пошутил. Скажи, что Люська сама. Скажи что угодно — я поверю, я всему поверю. Только обернись.

Не оборачивается.

Дверь хлопает. Сквозняк ударяет в лицо. Всё.

Он уходит из моей жизни, насвистывая, а я стою и понимаю разом, до костей: меня для него и не было. Была игра. Была забава. Был месяц скуки скрасить. А я всю душу, всю до донышка, вывернула ему под ноги — а он переступил и пошёл. Насвистывая.

Ольга Викторовна находит меня за колонной. Молча обнимает большой мягкой рукой, прижимает к груди, как маленькую.

— Говорила я тебе, Веруня, — шепчет в макушку. — Ох, говорила. Ну не реви. Оно заживёт. Всё на свете заживает.

Не заживает.

Проходит три недели. Три недели я живу как оплёванная — тихо казню себя за то, что верила, и ещё тише, стыдно, на самом дне души, всё жду. Что дверь откроется. Что войдёт. Что скажет: вернулся, дурак был, прости.

Не открывается.

Я на смене, в процедурном. И вдруг меня ведёт — резко, тошно, к горлу подкатывает горячим. Едва добегаю до раковины.

Ольга Викторовна замирает в дверях. Смотрит на меня долго. И лицо у неё делается такое, какого я не видела ни-

когда.

— Веруня, — говорит совсем тихо. — А ты по-женски когда... в последний раз?

Я считаю. И холод ползёт по спине.

Не помню.

Руки трясутся, когда я достаю из шкафчика тест. Запираюсь. Кладу на край раковины. Жду. Три минуты — длиннее всей этой проклятой войны.

Две полоски.

Ноги подкашиваются. Я сползаю по холодному кафелю на пол и прижимаю ладонь ко рту, чтоб не завыть в голос

Он ушёл насвистывая. Не обернувшись. Не узнав.

А я осталась — с его ребёнком под сердцем, одна как перст, и никому на всём белом свете нет до меня дела.

— Господи, — шепчу разбитыми губами. — Господи, за что же ты меня так. За что.

И тут во мне поднимается такое горе, такая чёрная, до самого горла обида, что впору выть в голос.

Я реву. Впервые за все эти недели реву в голос, взахлёб, некрасиво, размазывая слёзы по щекам, кусая собственную ладонь, чтоб не услышали за стеной. Меня трясёт всю, ломает, выворачивает наизнанку, будто вместе со слезами выходит и то счастье, которого не было, и вся вера, которую он растоптал.

Ветер, — задыхаюсь я. — Ветер ты и есть. Налетел, наобещал полное сердце, полный дом, полное окошко — и нету

тебя. А обломки собирать — мне. Одной.

За окном воет метель — точь-в-точь его фамилия. Будто в голос смеётся надо мной.

Не знаю, сколько я сижу на этом полу. Долго. Пока слёзы не кончаются совсем — до дна, до сухих судорог.

А потом кладу ладонь на живот.

И горе вдруг замирает. Отступает на шаг.

Потому что там, под ладонью, — не его вина и не мой позор. Там жизнь.

Моя жизнь…

Глава 4

— Долго ещё? — Юрий уже в дверях, при параде, недовольный. — Тасю бери, раз навязалась её тащить. Только чтоб под ногами не путалась.

Я ненавижу эти ужины.

Стою перед зеркалом, застёгиваю платье — то, серое, которое Юрий велел надеть, «неброское, ты не девочка уже красоваться». Провожу помадой по губам и сама себя не узнаю.

— Она посидит в детской, — говорю тихо. — Не помешает.

— Уж постарайся.

Пять лет я стараюсь. Пять лет — тише воды. И всё равно не угодить.

Дом гудит. Люстры, галстуки, дежурные улыбки, звон бокалов. Я иду под руку с мужем, а рука его — как чужая, холодная, только для вида под локоть подставлена. Тася семенит рядом, держится за мою юбку, серьёзная моя, тихая, вся в меня.

— Ветров! — гудит Юрий и тянет меня куда-то через зал. — Партнёр новый. Наслышан о нём. Идём, познакомлю.

Ветров.

Фамилия входит в меня, как игла. Мало ли Ветровых на

свете, говорю я себе. Мало ли.

Мужчина оборачивается.

И я застываю.

Земля уходит из-под ног. Гул зала обрывается, будто кто-то выключил звук. Остаётся только он.

Олег.

Пять лет. А я узнаю сразу. Раздался в плечах, постарел, костюм на нём вместо халата — а глаза те же. Светлые. Только чертенята из них выветрились. Взгляд тяжёлый стал, взрослый.

Он смотрит на меня — и тоже каменеет. Секунду мы просто стоим друг против друга. Через пять лет. Через ту каморку, где пахло хлоркой. Через дверь, что хлопнула, когда он уходил, насвистывая.

Не смей, — приказываю я себе. — Не смей, Вера. Держи лицо. Ты давно всё похоронила.

— Ветров, — хлопает его по плечу Юрий. — Знакомься, супруга. Вера.

— Очень приятно, — говорит он, и голос у него деревянный, чужой.

— Взаимно, — роняю я.

Одно слово. Ледяное. А внутри всё рвётся в клочья.

Мы садимся за стол. Он напротив. И начинается моя пытка.

Юрий, как всегда, меня будто не замечает. Заказывает себе, про меня забывает, потом бросает официанту через пле-

чо:

— А жене полегче что-нибудь.

Я киваю. Улыбаюсь той улыбкой, которой научилась за пять лет, — когда внутри выжжено, а снаружи ровно.

— Вера, локти, — роняет Юрий, не глядя.

И я убираю локти. Как девочка. Как виноватая. Привычно, на автомате.

А сама чувствую — Олег смотрит. Смотрит, как муж меня стирает в порошок этими мелкими, будничными плевками. И я готова сквозь землю провалиться. От стыда. Пусть бы кто угодно видел, только не он. Только не тот, перед кем я когда-то была живой, смеющейся, влюблённой.

Не смотри на меня так, — молю я про себя. — Не жалей. Я не выдержу твоей жалости. Я и так на ниточке держусь.

— А детишки есть? — светски спрашивает кто-то.

— Дочка, — цедит Юрий без капли тепла. — В детской с няней. А том будет мешать своими расспросами.

Я вижу, как что-то дёргается у Олега в лице при слове «дочка». Показалось, думаю. Мало ли.

Ужин тянется бесконечно. Тосты, кубометры, сроки, смех. А я не здесь. Я то в госпитале, то за этим столом, и всё гоню, гоню от себя одну мысль, которая скребётся, как мышь под полом.

Он не должен. Не должен увидеть Тасю. Не должен посчитать. Господи, только не это.

Наконец все встают, разбредаются с бокалами. Я выды-

хаю. Иду к детской — забрать Тасю, увести, спрятать, домой скорей.

Толкаю дверь.

И останавливаюсь на пороге. И всё во мне обрывается.

Он там.

Олег сидит на диванчике. А на руках у него — моя Тася. Он качает её, тихонько, бережно, будто хрустальную. А она — доверчивая моя, ласковая — обхватила его за шею ручонками, положила голову на плечо и сопит.

Хвостик Таси сбился набок.

Родимое пятно. На тонкой шейке, слева, под ушком.

Точно такое же, как у него.

Я это пятно пять лет прячу под воротничками, под волосами, под чёлкой. Пять лет обмираю каждый раз, как оно на свет вылезет. А сейчас оно — вот, на виду, у него перед глазами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.